

## КРОПОЧКИН А.Е.

*22 февраля 1947 года за мной захлопнулась железная дверь в одном из подвалов внутренней тюрьмы Томского МГБ.*

*Сейчас, спустя много лет, когда я перебираю в памяти события той страшной поры, кажутся невероятными, неправдоподобными духовный террор на допросах, пытки сном, голодом, карцером. Весь порядок, система обработки человека на следствии почти всегда давали палачам нужный результат: человек в полубредовом состоянии подписывал то, что нужно было следователю. Подписал и я.*

*Дальше, на протяжении почти девяти лет после суда, — череда пересылок, тюрем, лагерей, этапов.*

*Последним, шестым этапом на моем пути был этап на меднорудные шахты Джезказгана. Я как «руководитель» контрреволюционной группы был удостоен «чести» работать в забое. Те, кто умирал там, на медных рудниках, просили своих товарищей, кому суждено будет остаться в живых и выйти на свободу, рассказать людям всю страшную правду об этих лагерях.*

*Я, один из выживших, выполняю просьбу моего товарища, Александра Александровского, с которым разделил последние четыре года заключения и которому не суждено было выйти на волю. Джезказгану предшествовали пять этапов, из которых первым был этап в Асино.*

### **Глава 1. ЭТАП В АСИНО**

Нас в камере пять человек: три студента Томского университета, тракторист из Кожевниковского района Васька и поп — отец Питирим. Все малосрочники, на пятерых 33 года заключения — по статье 58, пункты 10 и 11. Отец Питирим, где-то молясь за русский народ во славу русского оружия, победившего врага, допустил какую-то ошибку, — 10 лет.

А вот Васькина история несколько отлична ото всего, что пришлось потом увидеть и услышать. Мальчишкой в деревне по просьбе бабушки Ермачихи он на дверь правления колхоза мякишем хлеба приклеил тетрадный листок бумаги, где было написано, как узнал позже на следствии, что советская власть от антихриста, поскольку разрушила церковь, а колхоз — это тоже не от Бога.

Получил за это задание горсть леденцов и тут же забыл об этом. Было ему в ту пору восемь лет. В 1947 году, когда ему исполнилось семнадцать и он был в колхозе лучшим трактористом, закончив четыре класса сельской школы, и когда давно умерла бабка Ермачиха, органы государственной безопасности предъявили ему обвинение по статье 58, пункт 10, в распространении листовки с пропагандистской целью, направленной на подрыв колхозного строя и социализма. Получил Васька за свои деяния срок 10 лет.

Итак, мы в этапной камере ожидаем отправки в лагерь. Рассказаны и пересказаны не один уже раз друг другу подробности ареста, допросов, сообщены характеристики следователей.

При обходе тюрьмы начальником попросили:

— Почитать бы что-нибудь, гражданин начальник. И, к нашему удивлению, утром следующего дня вместе с баландой мы получили зачитанный до дыр, с размочаленными страницами толстый том — «Собор Парижской Богоматери» Гюго. Читали мы по очереди, поп и Васька были малограмотными. Отец Питирим даже прослезился и сказал по прочтении: «Царство им

небесное» — это Эсмеральде и Квазимодо, — хотя вначале не хотел слушать чтение еретической книги.

Последние числа августа 1947 года. После суда прошло уже около месяца. В один из дней, сразу после завтрака, распахнулась дверь камеры. Вошли начальник тюрьмы и с ним человек в гражданском. Команда — собраться с вещами. Нас, троих студентов, вывели из корпуса. Отец Питирим перекрестил нас, у Васьки на глазах были слезы.

— Фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок?

Теперь эти шесть вопросов будут повторяться много-много раз на этапах, пересылках, в камерах — при выводе и водворении в оную.

— Руки назад, не разговаривать, по сторонам не смотреть, не оглядываться. Марш!

Эти пять команд теперь будут сопровождать нас до конца срока.

Глухой тюремный двор старой пересыльной томской тюрьмы. У ворот — «воронки». Неуверенно шагаем по булыжному двору, ноги как ватные. По-летнему светит солнце, кружится голова от свежего воздуха, на лицах — улыбки. Каким же светлым кажется день после полумрака и спертого воздуха камеры! Всего двадцать-тридцать шагов, и зарешеченная дверь «воронка» захлопнулась за нами.

Минут десять-пятнадцать езды, и мы на вокзале. Подъехали к самому отходу поезда. Когда нас затолкнули в тюремный вагон, там было уже человек пятнадцать-двадцать. Тихо переговариваемся. И один вопрос: куда повезут? Кто-то предположил — как потом оказалось, правильно — в Асино (поселок на берегу Чулыма, крупная перевалка леса, деревообделочный комбинат, шпалозавод).

Вахта лагеря.

— Фамилия, имя, отчество, статья, срок?..

И вот мы на территории лагеря. Оглядываемся по сторонам. Первое, что бросилось в глаза, — это деловито снующие люди, ряды приземистых бараков, окна без решеток. Кто-то кричал: «Нарядчика на вахту!» Как из-под земли перед нами выросла фигура высокого человека с доской под мышкой и карандашом за ухом.

— Разведи по бригадам, — приказал ему человек в форме лейтенанта и, повернувшись, ушел на вахту, а мы за нарядчиком пошли к баракам. Навстречу нам по дощатому тротуару шли две женщины, одна из которых показалась мне знакомой. Но этого не может быть... Я не верил своим глазам... Да, это она, профессор истории Томского университета Фаина Ароновна Хейфиц. Прошлый год она попрощалась с нами, уезжая в Москву (там печатался ее учебник новой истории в соавторстве с профессором Московского университета — для окончательной редакции перед сдачей в печать). И вот вместо Москвы — Асино: 10 лет по статье 58, пункт 10. Мы не стали спрашивать за что. Все за то же — антисоветская агитация, а уж у профессора, конечно, больше возможностей для этого, чем у студента.

Наутро первый выход на работу. Шпалорезка. Нужно успеть за машиной сбросить обработанную шпалу с эстакады вниз по двум наклонным доскам, где ее подхватывали два человека и укладывали в штабеля.

Со стороны эта работа казалась легкой, но часа через два я почувствовал боль в руках, потом начало рябить в глазах, подкашивались ноги. Но в бешеном вращении визжат пилы, шпала за шпалой летят вниз. Казалось, вот спущу еще одну — и упаду под надвигающийся на меня брус, но... гудок на обед. Затихли визг, грохот, все остановилось. Со всех концов рабочей зоны потянулись люди к навесу, куда подвезли два котла с пищей. Бланду разливали в котелки, какие-то банки, черепки. Я не имел посуды и стоял в сторонке, не зная, что предпринять.

Уже кончали раздавать обед, когда ко мне подошел совсем еще мальчишка, запорошенный опилками, и молча протянул жестяной котелок.

— Оставишь, — сказал он коротко и отошел. В этот ржавый котелок повар налил бланду и туда же бросил черпачок каши. Хлеб почему-то все съедали отдельно. Выпил я свою порцию через край, а кашу выбрал со дна корочкой хлеба, и тут же ко мне подошел этот мальчишка, взял у меня из рук котелок, заглянул в него, и только тогда до меня дошел смысл сказанного им «оставишь». За услугу нужно было расплачиваться.

— Жмот, — сказал он, забирая котелок.

Так я получил первый урок лагерного закона: за все платить — окурком, пайкой, порцией бланды. Мне показали, где можно приобрести банку нужной величины для обедов в рабочей зоне. В лагерь их вносить не разрешали, а прятали каждый свою здесь же: кто закапывал в опилки, кто засовывал под бревно или щепки.

Как доработал до конца смены, я помню плохо, только увидел, что суставы в плечах и локтях вздулись до таких размеров, что было страшно смотреть, и на следующий день в лагерном лазарете я получил освобождение от работы.

## **Глава 2. ЭТАП В ГОРЕВКУ**

Недели через две человек сто не вывели на работу. Пронесся слух: собирают на этап. Потом уже, когда пришлось побывать не на одном этапе, знал, как взбудоражен перед этапом бывает лагерь. Тревожит неизвестность: куда? Будет там лучше или хуже? А если лесоповал, а если шахта? В разговорах перебирали все возможные и невозможные варианты, но никогда не угадывали истины.

Прежде всего все узнали, что отставили от работы малосрочников со сроками 10 лет и меньше. Высказывались даже предположения — на расконвойку. А с моим сроком в 5 лет — наверняка.

Как бы там ни было, к вечеру всех сфотографировали анфас, профиль, взяли отпечатки пальцев, сверили по формулярам, выдали бушлаты и ботинки тем, у кого они были очень плохими (это значит — подошва ботинок подвязана куском веревки или проволоки, а бушлат или телогрейка представляет собой лохмотья).

Построили по пять, сосчитали сперва в лагере, потом еще раз за воротами, и мы в сопровождении конвоиров и собак двинулись на станцию железной дороги. Там нас передали конвою сопровождения этапа. Снова сверка, снова счет — и в вагоны. Стояли вплотную друг к другу.

— Неужели так, стоя, и поедем? — недоумевали новички на этапе.

— Нет, нас разведут по двухместным купе, — невесело шутили другие.

К вечеру мы приехали на станцию Анжерская. Первые числа ноября. Снова поверка, пересчет. Нас оказалось девяносто человек (восемнадцать пятерок), и вот, подгоняемая конвоирами и собаками, колонна растянулась по дороге. Потеряв строй, с трудом вытаскивая ноги из грязи, перемешанной со снегом, мы медленно двигались по таежной дороге на юг.

Дует холодный порывистый ветер, слепит глаза мокрый снег. На нас промокшие насквозь бушлаты.

— Подтянись! Подтянись! — слышны крики конвоиров. В хриплом лае захлебываются собаки, рвутся с поводков. Как в полусне бредем через метель, лай, окрики. Затихают уставшие собаки, уставшие конвоиры уже не подталкивают уставших людей. Лес плотной черной стеной обступает с обеих сторон. Идем...

Стало совсем темно, когда в этой таежной глуши внезапно открылись огоньки в окнах домов. Лесной поселок, скорее всего леспромхоз. Ночью по тайге конвой не поведет — значит, отдых. Скорее, скорее в тепло, хотя бы обсушиться, а может быть, получить пайку. Смертельная усталость притупила чувство голода, но колонну остановили. Стоим и ждем.

Минут через пятнадцать-двадцать подъехали сани — тощие клячи еле тащили их. На санях лежали люди. Это отставшие, истощенные (доходяги). Конвоир, сопровождавший сани, стал стаскивать с них людей, чтобы они встали в строй. Двое, еле переставляя ноги, встали в строй. Двое других продолжали лежать в санях. Рассвирепевший конвоир бегал вокруг саней, стараясь криком, угрозами поднять людей. И когда убедился, что криком не поднять, он стал прикладом автомата бить лежавших и вдруг, как будто что-то сообразив, отскочил от саней и крикнул, обращаясь к толпе:

— Доктор есть?! Ну-ка, посмотри... Понравилось ехать, притворились, контрики?

Из толпы вышел коренастый чернобородый человек, как потом оказалось, врач одной из киевских больниц. Он потом будет врачом медпункта в лагере.

Чернобородый подошел к лежащим и стал щупать пульс.

— Они мертвы, — обращаясь не к конвоиру, а к нам, сказал он. Хотя это ясно было уже тогда, когда конвоир бил прикладом автомата по неподвижным телам.

— Приехали, — сказал кто-то негромко, но это в гробовой тишине услышали все. Даже собаки и те перестали выть и рычать.

Крепчал мороз, небо очистилось от туч, и на нем высыпали яркие звезды. Мы стояли, не зная, что будет дальше. Шепотом о чем-то совещались конвоиры, и потом команда:

— Разберись по пятеркам!

В темноте мы долго не могли разобраться и встать как следует. Снова крики, ругань, лай собак, а мы старались втиснуться в середину пятерки, чтобы не быть с краю или в последней пятерке, то есть ближе к конвоиру или к клыкам собак. И стало ясно, что построить нас невозможно. Два конвоира, отдав своим товарищам автоматы, начали выхватывать из толпы людей и ударами в затылок по пятеркам заводить их в какой-то сруб без крыши, окон и дверей. Таким образом, через полчаса суматохи и неразберихи мы были сосчитаны и водворены в этот загон. Как в

недостроенном домике могло поместиться девяносто человек, непонятно. Теперь стало очевидно только то, что нам предстоит провести ночь на морозе стоя. Приказано было не шуметь. Люди переговаривались вполголоса. Начали строить разные предположения, догадки.

— Загнали сюда, чтобы всех заморозить.

— Не всех. Произойдет отбор. Естественный.

— Доходяги в лагере не нужны.

— Лучше подохнуть, чем так...

— Нас осталось только облить водой, и будем все герои, как генерал Карбышев.

— Так то ж немцы...

— А здесь свои хуже.

— Пусть дают пайку. Давайте требовать.

И вот сперва неуверенные голоса, потом все громче и громче:

— Пайку! Пайку!

Потом все, поднявшись в каком-то порыве отчаяния, завопили:

— Пайку!

Минуту-другую прислушивались, и снова:

— Пайку!

Треск автоматных очередей с двух сторон ударил по верху сруба, на голову посыпались щепки, и все затихло. И вдруг среди этой тишины взвился высокий, почти до визга, голос:

— Стреляйте, суки, все равно к утру все будем мертвыми!

И снова в девяносто глоток:

— Пайку!

Снова прислушались.

В одну из таких минут, когда мы затихли, слышно было, как кто-то подошел к срубам.

— Слушай, контра! На пять человек буханка, делите сами, да без шума!

И вслед за этим предупреждением в сруб нам на головы полетели буханки хлеба. Тут же началась молчаливая свалка.

Шарили под ногами, кто-то успел схватить буханку с плеч соседа. Но вот среди шевелящейся массы прогудел бас:

— Весь хлеб — на середину. Если хоть одна сука откусит от булки, порву пасть. Освободите круг!

И люди сделали невозможное — еще потеснились, и в центре образовался круг диаметром в

метр. Со всех концов бережно передавали друг другу булки и складывали их прямо на сырые щепки, на землю. Всё. Все стали считать. Должно было быть восемнадцать булок, насчитали семнадцать. Тот же голос:

— Сейчас устроим шмон. Найдем заначку — прощайся с жизнью.

Кто-то предложил поискать под ногами, и через минуту, откуда-то из угла, из темноты:

— Есть!

Передали в кучу восемнадцатую булку.

Среди сырых щепок нашлось несколько сухих, и при чадящем, скудном свете начали разламывать булки на пайки по 200 граммов каждому. Можно было не проверять. На самых точных весах ошибка могла быть не более 5—6 граммов.

Кто не раз бывал на этапах, тот знает, как это делается, с какой точностью на глаз делилась булка без ножа. Находилась крепкая нитка или шнурок, и булка разрезалась точно на пять равных паек. Когда раздавались пайки в столовой или на улице, там становились в затылок один за другим — подходи, получай. И горе было тому, кто становился в очередь во второй раз — *закосить\** вторую пайку. Отбирали полученную и били до тех пор, пока не вмешивался надзиратель или конвой, а они в таких случаях не спешили.

Но как раздать хлеб здесь, в темноте, в такой скученности, что булке упасть было невозможно на землю? Наконец из многих предложений было принято одно: выстроиться лучами по десять человек лицом к центру, где светилась лучина и находился хлеб. Это построение девяноста человек заняло у нас не менее часа. Наконец начали раздачу. Пайка выдавалась первому из десятки, он ее передавал второму, второй — третьему, и так до десятого. Десятый говорил: «Есть» — это значит, пайка дошла, и так до первого. Снова первый передавал второму, второй — третьему, третий — четвертому, и возглас: «Десятый — есть!»

*\* Получить что-либо незаконно (блат.). — Прим. ред.*

По 200 граммов полусырого хлеба было роздано каждому благодаря вмешательству, видно, опытного человека; этот человек вызывал невольное уважение. Высокий, косая сажень в плечах, в брезентовом дождевике с башлыком, надвинутом на форменную фуражку капитана речника. Но голос! Такого низкого баса мне не довелось слышать ни до, ни после лагеря. Потом он у нас в лагере был бригадиром плотницкой бригады, но об этом позже. С пайками управились в минуту.

К огню вышел тот, чернобородый, что назвал себя врачом, когда осматривал умерших товарищей:

— Слушайте все, кто хочет быть живыми. Не засыпайте! Сон здесь, на холоде, — это смерть. Передвигайтесь помаленьку, жмитесь друг к другу, но не засыпайте!

### **Глава 3. СОН**

Как скоротечны дни! Тихое летнее утро. Я иду по сосновому бору. Вверху бездонное голубое небо. Душистая свежесть берез и сосен.

Среди темно-зеленой травы, покрытой утренней росой, крупные сочные ягоды земляники. Я

боюсь наступить на ягоды, обхожу земляничную поляну стороной.

Мне сильно хочется спать. Ложусь под сосной. На листьях и хвое — не роса, а холодный иней, и кто-то невидимый шепчет мне: «Не надо спать, не надо спать!» Борюсь со сном и... просыпаюсь от холода, сковавшего все тело.

И снова страшная явь... В каком-то полубреду-полусне шевелилась живая масса людей, коротая страшную, кошмарную ночь. Холод все сильнее и сильнее сковывал тело. Шевелиться не хотелось — не было сил, не было сил и стоять на ногах, и мы начали приседать на корточки, а потом все-таки сон валил нас друг на друга, и удавалось вздремнуть двадцать-тридцать минут.

Чуть забрезжил рассвет, команда:

— Выходи строиться!

Разминая затекшие руки и ноги, мы стали выползать из сруба. И снова:

— Разберись по пятеркам! Первая пятерка, четыре шага вперед! Вторая, третья, четвертая... восемнадцатая!

Восемнадцатой пятерки не оказалось. Вчера в ней было три человека, сегодня ни одного. Конвоиры бросились в сруб. Матерщина, удары.

Одного за другим волоком вытащили трех человек. Неестественно скрюченные тела говорили о том, что они уснули навек. Собаки было бросились на них, но сразу отступили, рыча, поджав хвосты. Теперь на санях с умершими было уже пятеро. Снова крики:

— Подтянись!

Лай собак. Скоро лес стал как будто бы реже, у дороги сложены штабеля леса. Теперь мы стали догадываться, что нас везут на лесоповал.

Вечером подошли к лагерю. Зона огорожена забором из заостренных сверху бревен, плотно пригнанных друг к другу, тяжелые ворота из горбыля, вахта — домик с двумя маленькими оконцами. Нас отвели немного в сторону от вахты, так как нужно было пропустить в зону пришедшую с работы бригаду. Изможденные, черные от копоти лица, поникшие головы. Позже мы поняли, почему у всех лица были черными. На лесосеке каждый старался, чтобы обогреться, быть поближе к костру. Умываться снегом не хотелось, а воды и умывальников в лагере не было.

И вот мы в зоне. Не успели оглядеться, как надзиратель скомандовал:

— В барак марш!

Эта команда была не понята нами, так как никаких барачков мы не увидели. Стояли, переглядывались.

— Что, особого предложения ждете? — зарычал надзиратель.

Только теперь мы различили перед собой черную дыру со ступеньками, уходящими вниз. Ощупью спускаемся на пять ступенек и открываем дверь. Первый, кто вошел в барак, крикнул:

— Братцы, да это же блиндаж!

И тогда, как по команде, давя друг друга, мы бросаемся на штурм дверей. Давка, мат... Раз блиндаж — значит, нары, и каждый думает занять место подалеже от входа, от параши и, если посчастливится, занять верхнее место — значит, спать в тепле.

Землянка, в которую нас загнали, была довольно вместительной, темной и сырой. В два яруса нары из нетесаного горбыля, маленькие оконца на уровне земли, почти не пропускающие света. В конце нар, ближе к выходу, печь — бочка из-под солянки. Печка раскалена докрасна, но воздух в землянке сырой, настоянный на запахе свежей земли и хвои. От горящих поленьев по стенам мечутся сполохи света, выхватывая из темноты лица людей.

После шума и перебранки за места на нарах наступает тишина. Кто-то роется в своем мешке, кто-то, сняв обувь, растирает ноги. Тихий говор о том, что землянка похожа на братскую могилу, что, суки, закосили ужин. Нет сил просить или требовать законную пайку. Скоро говор стихает совсем; смертельно уставшие, голодные люди погружаются в тяжелый, наполненный храпом, кашлем, невнятным бормотанием сон. В печи тлеют перегоревшие угли, затухают совсем.

Никто не мог понять, что уже прошла ночь, когда крепкий сон измученных людей прервался криком:

— Подъем!

Нехотя поднимаются люди, натягивают на себя одежду.

Следующая команда:

— Выходи строиться!

Никто не торопится выйти первым, так как первому на морозе придется ждать выхода всех остальных.

— Выходи без последнего! — кричит нарядчик. Это значит, что последний выходящий из барака получит удар палкой. Построили нас у землянки. Подошел одетый в белый полушубок, в погонах лейтенанта, коренастый, с монгольским типом лица человек.

— Ну что, контрики, отдохнули? — В ответ угрюмое молчание. — Работать будете в зоне. К запретке ближе двадцати метров не подходить, часовой стреляет без предупреждения. Топоры будут выдаваться на вахте под личную расписку, потеря топора или утаивание считается подготовкой к покушению на охрану лагеря. Срок — пятнадцать лет. Ясно? Вопросы есть?

— Почему не выдали вчерашнюю пайку?

— Об этом спросите у конвоя, который привел вас сюда, — с еле заметной ухмылкой произнес начальник лагеря. — Ночью из барака не выходить, жалобы подавать лично мне через бригадира. В остальном: закон здесь — тайга, прокурор — медведь, — повторил он давно известную всем энкам присказку.

По тому, как говорил с нами молодой начальник, было видно, что он наслаждался неограниченной властью над бесправными, голодными людьми.

Наша бригада с 58-й статьей строила барак. Как-то, ближе к весне, нашу стройку посетило начальство из Сиблага.

— Начальство лагеря жалуется, что плохо работаем, — начал один из проверяющих



начальников. — Выявим саботажников, отправим в штрафной лагерь.

— Хуже не будет, — тихо сказал кто-то.

— Кто сказал? Два шага вперед!

И, чего мы не ожидали, из строя вышел бригадир — тот капитан-речник, который на этапе делил хлеб, который силой и матом поднимал с нар обессиленных работяг: один раз не поднявшийся с нар человек не мог встать на ноги уже никогда. Он — бригадир, и мы знали об этом, но не каждый мог преодолеть в себе навалившуюся тяжесть во всем теле, и особенно в ногах. В первую очередь отказывали ноги. Каждое утро нужно было преодолеть пять ступенек из землянки, и мы, подталкивая друг друга, с каждым днем все труднее и труднее преодолевали их.

— Я сказал, гражданин начальник. И скажу еще, что нам по три дня не выдают хлеба, заели вши, на сруб подсаживаем друг друга, норму мы не выполняем потому, что доходим, блатные отбирают пайку...

Мы стояли опустив головы, и воцарилась такая гнетущая тишина вокруг, что слышно было дыхание людей, грязных, оборванных, с изможденными лицами, жавшихся друг к другу. Пауза затягивалась.

— Разберемся, — коротко, но как-то не по-начальнически бросил проверяющий, пристально смотревший на тянущегося перед ним начальника лагеря, который казался нам теперь таким малозначительным и жалким.

Напрасно мы ждали каких-то скорых изменений к лучшему после этого посещения начальства. Все оставалось по-прежнему.

Весна в тайгу приходит позже, но апрель принес тепло и яркие солнечные дни. Мы как бы узнавали заново друг друга. В зоне разрешили разжечь костер для прожарки белья. Раздевались у костров, стараясь как можно ближе поднести к огню то, что называлось некогда бельем. Со стороны это было похоже на какой-то танец скелетов, обтянутых серой гусиной кожей. Затея с прожаркой кончилась тем, что белье стало еще черней от копоти да прибавилось прожженных дыр, а насекомые как были в складках белья, так и остались.

Потом наиболее изобретательные нагревали два кирпича и старались, как утюгом, проглаживать ими складки белья и, тоже без успеха, с остервенением били горячим кирпичом по белью, и там, где ударяли, проступали кровавые точки раздавленных насекомых.

К началу лета бригада уменьшилась наполовину, а барак, который мы строили, был готов меньше чем наполовину. Недалеко за зоной еще до зимы был вырыт ров, теперь зимой не нужно было в мерзлой земле рыть могилы для каждого умершего отдельно. Трупы сбрасывали в ров, разравнивали землю, закидывали травой и мхом.

Вести с воли не доходили в эту таежную глухомань — так же, как нельзя было отсюда докричаться до родных и близких людей.

Подъем, работа, отбой — это бесконечное однообразие, иссушающее душу и тело, превращающее человека в полуживотное, один раз было для меня нарушено вызовом на вахту. Вызов на вахту в лагере для зэка либо беда, либо радость. Радостью может быть свидание,

освобождение, все остальное если не беда, то и не радость.

Переступив порог вахты, я сразу же увидел сестру Аню. Она сидела на скамейке в углу, нас разделяла невысокая перегородка. Родное, милое лицо. Но почему она рассеянным взглядом скользит мимо моего лица, смотрит на надзирателя, который привел меня? Да она не узнает меня, хотя не прошло еще и года, как мы расстались.

Как-то весной, после дождя, около барака я склонился над лужей, чтобы умыться, и увидел, как в зеркале, отражение своего лица. На меня глядел незнакомый мне человек, обросший жесткой щетиной, с черепом, обтянутым грязной кожей, и с провалившимися глазами. Я тогда еще подумал: «Такого меня и родная мама не узнала бы!»

И вот сбылось мое предположение. Так и стояли мы друг против друга, пока я не сказал:

— Здравствуй, Аня!

В глазах метнулся страх и изумление одновременно. Расширенными глазами смотрела она на меня, еще не веря, что перед ней ее родной брат. Из всего короткого бессвязного разговора тогда я запомнил только один ее вопрос:

— За что они тебя так?..

Да, спустя много лет после того, как меня лишили свободы, после того, как я вновь обрел относительную свободу, я снова задал себе этот вопрос: за что? И сам ответил на него словами одного типа, который в разговоре со мной о репрессиях сказал мне:

— Зря не сажали.

А ведь и в самом деле, не сажали. Стоит вспомнить, покопаться в памяти, а если забыл, то тебе напоминали следователи на допросах: где, когда, в присутствии кого были сказаны фраза, слово — хоть одно слово, по которому можно заподозрить тебя в нелояльности, непочтении к строю, «вождю» или к своему начальнику, — этого было достаточно, чтобы потом раскрутить на всю катушку дело об антисоветской деятельности. «Был бы человек, а "дело" будет» — так шутили в то время следователи.

В наши глупые пионерско-комсомольские мозги, в наше сознание с раннего детства вбивали, что свобода слова, свобода печати обеспечены сталинской конституцией, и мы верили в это, как и в то, что живем в самой счастливой и свободной стране, «...где так вольно дышит человек». Мы верили, не ведая, что под свободой слова и печати подразумевается прославление произвола, лицемерия, вселенской лжи, доносов и прочей атрибутики, связанной с движением к «светлому будущему».

А если ты не прославлял, добровольно не отдавал себя во власть этого огромного, многоглазого, с длинными щупальцами чудовища, тогда оно хватало и пожирало тебя и твоих близких.

Чудовищем этим был ГУЛАГ.

И сейчас, через много лет, не могу не вспомнить слова начальника Томского МГБ подполковника Волкова, коим я был удостоен вызовом на беседу. Тот начал стелить издалека:

— Вот, парень, ты, по дневникам, да и по повести, которую я прочитал с большим интересом, боевой и неглупый, да и друзья твои университетские будут говорить, что не за что было тебя

забирать, но сейчас, к концу следствия, ты, наверное, понял, каким ты должен был быть, чтобы называться нашим, советским человеком. Твой арест должен послужить предупреждением для других студентов, что на страже идеологии стоят не только комсомольская и партийная организации, но и чекисты. Может быть, твой арест породит еще несколько недовольных строем, властью людей, и все же не посадить тебя мы не могли. От таких, как ты, завтра можно ожидать не только разговоров, но и действий. Всякую болезнь, как известно, вылечить можно на ранней стадии заболевания.

Вся эта проповедь была сказана ровным, спокойным голосом, и неискушенному человеку могло показаться, что, в самом деле, так оно и есть. Спасибо им, диагностам, захватившим болезнь на ранней стадии ее развития.

Говорить с сестрой мне не дали. Перетрясли сумку со снедью. Надзиратель с каким-то остервенением крошил каждую лепешку, дважды пересыпал махорку и, наконец, передал мне сумку с продуктами. Я был первым, кто получил здесь, в этой глухомани, посылку.

Посылку в барак принес с вахты бригадир. Лагерная шпана не посмела напасть на него и отобрать.

До этого в лагере произошел такой случай. Трое урок пришли к нам в барак разжиться махоркой. Закурить им не дали, но, когда они потребовали поделиться махоркой, бригадир схватил топор и гнал их до самой вахты. С тех пор в нашу бригаду никто из них не наведывался.

Лето подходило к концу. Красивым бывает начало осени в тайге. Краски от темно-зеленого до оранжево-красного расцвели лес. Теплое, ласковое солнце грело землю, исчез гнус, страдания от которого были не меньшими, чем от голода. Страшно было подумать о том, что впереди ненастье, дождь, снег, холод. Снова темнота подземного барака, голод. В бригаде осталось меньше половины, да и те, оставшиеся в живых, еле-еле забирались на сруб, тюкали топорами, сберегая силы, чтобы добрести до барака после съема\*.

В один из таких погожих дней меня вызвали на вахту. За маленьким столиком сидел начальник лагеря, перед ним —

\* Съём — сигнал или приказ к окончанию работы. — *Прим. ред.*

тощая папка; это мой формуляр. Справился о моих данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, статья, срок, время ареста, каким судом осужден. На все эти вопросы нужно отвечать быстро и четко.

— Через десять минут на вахту с вещами, — сказал начальник, закрывая папку. — Топор сдашь надзирателю, — добавил он.

Все вещи, которые я имел, были на мне, так что сдать нужно было только один топор.

Радость, надежда охватили меня — ведь говорили знатоки, которым я рассказывал о своем деле, что после жалобы Сталину меня, фронтовика, не бывшего в плену, должны освободить.

В жалобе я писал: «Дорогой наш полководец, мы, твои солдаты, верой и правдой служившие тебе и Родине, прошедшие боевой путь...» и т.д. И самым сильным аргументом в жалобе я считал, что у меня имеется грамота с благодарностями за его подписью, что мы спасли его и его министров «от гитлеровской петли» (буквально), а сейчас органы МГБ учинили надо мной произвол и расправу. «...Дорогой вождь, помоги нам, твоим солдатам, восстановить

справедливость».

Теплый сентябрьский день. Дорога от лагеря идет через сжатые поля с березовыми колками, скирдами сена и соломы, еще не убранными с полей. Вот она, свобода, рядом, хотя и предупрежден конвоиром:

— Шаг влево, шаг вправо считаю побегом, оружие применяю без предупреждения.

Но он, наш конвоир, хороший, добрый парень, он ведет меня на освобождение.

Рядом со мной шагает девушка. На вид ей восемнадцать— двадцать лет. Разговаривать в строю не разрешается. Мы смотрим друг на друга, улыбаемся. Откуда она и почему идет вместе со мной? В округе женских лагерей нет. Может быть, она арестована в Горевке? Тогда почему на ней лагерные ботинки и платье? Вздернутый носик, веселый, озорной взгляд черных глаз проникает в душу. Взглянув на нее, самому делается беспричинно весело и легко. Я смотрю на нее и думаю: неужели конвоир стал бы стрелять в нее, если бы она сделала шаг в сторону?

Попробую задать ей один вопрос — как она оказалась в Горевке, и если конвоир сразу же не оборвет наш разговор, то будем идти и разговаривать.

Я задал ей этот вопрос. Конвоир промолчал. Значит, можно разговаривать.

Галя — так звали девушку — родом из Западной Украины. Осуждена на 5 лет. Отца с матерью арестовали раньше, жила с теткой в этой же деревне. Ее «дело» состояло в том, что она однажды вечером вынесла напиться воды трем хлопцам. Напоила — и забыла. Прошло два года. Когда ей исполнилось восемнадцать лет, в день рождения, за ней пришли. На допросах старались установить связи с бандеровцами, обещали: если она укажет, опознает этих парней, то ее отпустят.

На очных ставках через два года она не могла никого опознать. В конце концов, убедившись, что она в самом деле ничего не знает, в обвинительном заключении просто написали: за оказание помощи бандеровцам. Ну, а потом, как обычно, этапы, пересыльные тюрьмы...

Из женского лагеря в Асино Томской области она попала в Горевку на расконвойку. Была на побегушках у начальника лагеря, у кума мыла полы в конторе, и вот — этап в неизвестность.

— Тебя, может быть, и отпустят, — сказала она, — а нас, бандеровцев, ни за что.

Я как мог успокаивал ее, говорил, что с расконвойки берут только на освобождение, а самого червь сомнения где-то внутри точил и точил: что завтра? Теперь же хотелось, чтобы эта дорога среди полей и перелесков продолжалась как можно дольше, — так легко и радостно было на душе, ведь я вырвался из этого ада, где медленно, но верно угасала жизнь.

К вечеру мы пришли на станцию Яшкино. На ночлег остановились в каком-то ветхом пристанционном домишке. Судя по тому, как конвоир разговаривал с хозяйкой, он здесь не впервые. Постелив под голову бушлат, я не помнил, как уснул. Проснулся внезапно, не то от грохота, не от крика, и в следующую секунду в комнатку, где я спал, вбежала Галя.

— Заступись... — прошептала она.

Конвоир, по всей видимости, не ожидал такого отпора от девчонки. Он рисковал получить статью не за изнасилование, а за связь с заключенной — и отступился. Так мы сидели, прижавшись друг к другу, и решили: если будет выводить, то только обоих. Остаток ночи

прошел спокойно, хотя мы не сомкнули глаз. Этот конвоир не знал западных украинок, для которых бесчестье все равно что смерть. Только по любви и по закону она могла пойти на связь с мужчиной. Обменялись адресами. Она попросила, если у меня будет возможность, написать ее тетке — когда и где я ее видел в последний раз.

Нас с ней перевезли в пересыльный лагерь на станции Яя. Здесь мы с Галей расстались.

— До свидания, — чуть слышно произнесла она. Таких печальных глаз, наполненных слезами, я больше не видел никогда в жизни... За нею закрылись ворота женской тюрьмы, а меня почему-то отправили на пересылку в Новосибирск.

Дальнейшие события, круто повернувшие мою лагерную жизнь, не позволили выполнить ее просьбу, а потом стерся в памяти и адрес.

Из вагона нас выгрузили в тупике между старой водокачкой и льдопунктом. Отсюда начиналась улица 1905 года, на которой находилась пересыльная тюрьма. Судьбе было угодно устроить так, что мне пришлось в 30-х годах жить в угловом доме на стыке улицы Салтыкова-Щедрина и улицы 1905 года.

В те страшные тридцатые для жителей этой улицы стало уже привычным передвижение, почти ежедневное, этапов серединой улицы, а встречные люди, повозки жмутся к тротуару. Группа людей, со всех сторон стиснутая конвоем с собаками, идет, провожаемая взглядами, в которых и сострадание, и любопытство, и страх. Кто эти люди, за что арестованы, какое преступление совершили они? Так думал и я тогда, когда мальчишкой наблюдал за этими проходящими колоннами.

Как только я переступил порог пересылки, все взоры обратились ко мне. Первый вопрос:

— Давно с воли?

И когда узнали, что год с лишним, интерес к моей персоне сразу пропал.

Окинул взглядом людей, и невольно на ум пришли слова поэта: «Какая смесь одежд и лиц...» Лучше про пересылку не скажешь. Здесь люди сортировались, пересылались к указанному месту, на очную ставку, на допрос, для дачи показаний в суде по делу тех, кто из твоих знакомых сел позже тебя. Кто-то отсюда поедет к постоянному месту жительства — в лагерь. Постоянная смена лиц...

А пока ожидание и неизвестность, неизвестность и ожидание. Между нарами и противоположной стеной на всю длину барака кружат и кружат, заложив руки за спину, люди, что-то обсуждая, о чем-то споря. Здесь мне убедительно объяснили, что еду я из лагеря не на освобождение, а за «довеском», так как якобы Генеральный прокурор всем «пятiletникам» опротестовал приговоры областных судов как необоснованно мягкие, и что у кого был «пятак» — будет восемь или десять.

«Абсурд, — думал я, — как можно добавлять всем, независимо от степени вины?»

Святая наивность. Можно! Через десять дней я убедился в этом. В том же Томском областном суде, с портретом Сталина во весь рост за спинами судьи и двух заседателей. Прокурор, защитник, секретарь — полная картина советского, «самого гуманного и справедливого», правосудия. Вопросы суда, ответы подсудимых... Суд удаляется на совещание. Приговор:

— Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики Томский областной суд, руководствуясь статьей пятьдесят восемь, пункты десять и одиннадцать, УК, приговорил Кропочкина Александра Евдокимовича к десяти годам лишения свободы в ИТЛ.

В ответ я улыбнулся прокурору.

— Чему вы обрадовались, подсудимый?

— Радости мало, но смешно то, что у вас и защитник от начала до конца вместо защитительной речи произносит обвинительную.

Теперь, как мне показалось, самодовольно улыбнулся прокурор.

И еще больше всего мы боялись, что дело из суда будет передано на следствие в МГБ. Это уже страшнее любого приговора. И когда меня представили как руководителя, главаря несуществующей преступной контрреволюционной организации, ставившей своей конечной целью свержение существующего строя, я не возражал и не доказывал абсурдность этого заключения.

Как это я пытался доказать следователю, что три студента-фронтовика не могли свергнуть существующий строй, который они вчера защищали с оружием в руках и который не могла свергнуть оснащенная, вооруженная до зубов германская армия? Этот довод я считал сильным, он должен был опровергнуть предъявленное обвинение. Но запущенная адская машина следствия перемалывала все эти доводы и, не останавливаясь, выдавала продукцию для ГУЛага. И нет дела ей до наших аргументов, доводов и доказательств.

#### **Глава 4. ЭТАП НА БАЙКОНУР**

Конец февраля месяца 1949 года. Прошло уже два года следственных тюрем, лагерей, пересылок, и вот состав из товарных вагонов с решетками на окнах мчит нас куда-то. Хоть бы увидеть название одной станции, и станет ясно, куда едем.

И первой станцией, которую мы увидели, был Барабинск. Едем на запад. Дальше начались гадания... Куда??? Если Северный Урал — плохо...

И никто в вагоне не мог догадаться куда до тех пор, пока не приехали на станцию Петропавловск. Здесь мы повернули на юг от Транссибирской магистрали.

Было высказано предположение: на угольные шахты в Караганду. Но когда приехали в Караганду и нас не высадили, тогда все потерялись в догадках — никто из нас не знал, что есть на земле Байконур, рабочий поселок, Дзезказган, Кенгир, Карсакпай, Балхаш, где безраздельно господствовал Степлаг с центром в Караганде...

Выгрузились на станции Новорудная. Конец февраля. Заметно теплее, чем у нас в Новосибирске. Солнечно. Чистое голубое небо и степь без конца и края на все четыре стороны. После недели, проведенной в вагоне, закружилась голова.

Построение.

— Первая пятерка, пять шагов вперед, вторая, третья... Не оглядываться, не разговаривать!

Мы проходим метров двести-триста и грузимся в вагоны узкоколейки. Вагоны приспособлены для перевозки эков. Я до тех пор не видел вагонов узкоколейки, и все это кажется игрушечным,

неправдоподобным, маленьким. Отсчитали десять пятерок.

— Куда? — Этот короткий вопрос почти шепотом задаем железнодорожнику — осмотрщику вагонов.

Он так же коротко и негромко ответил:

— Байконур.

Оказалось, что это рабочий поселок в девяноста километрах на запад от Дзезказгана.

Формальности с отправкой этапа задержали нас почти до вечера. Ясный, сравнительно теплый день сменился порывистым ветром, полетели хлопья снега. Короткий гудок паровоза, и вагоны, подрагивая, застучали на стыках, увозя нас в неизвестность. Не знаю, сколько мы проехали, поезд сперва замедлил ход и еле тащился, потом остановился совсем. За окном бушевала вьюга. Свист, вой ветра слились в какой-то адский рев. Казалось, что эти игрушечные вагончики вместе с нами унесет в степь.

Мы сидели, плотно прижавшись друг к другу. Вагон продувался насквозь. Опустилась ночь. Но прежде чем наступила ночь, в вагоне стало совсем темно от того, что сугроб снега закрыл окна. В вагоне потеплело. В крошечной темноте и грохоте мы потеряли счет времени. На крыше вагона слышался топот ног и еле слышный голос:

— Откройте вентиляцию!

А кто знал, где она находится, эта вентиляция, и что нужно открывать? Духота становилась невыносимой. Люди шарили по стенам, по потолку вагона и не находили того, что можно было бы открыть. Мы были заживо погребены в этих коробках под сугробами снега. Запахло мочой и испражнениями. В этих вагонах не предусмотрен туалет или параша. Это еще больше усугубило и без того критическое положение. Люди падали в обморок. Выбили через решетку оконце. Но это не помогло. За окном плотно спрессованный снег не дал возможности проникнуть свежему воздуху в вагон, ставший для нас газовой камерой.

Истошно кричали, били в стены вагона кулаками, ногами, прислушивались, но в ответ — гробовая тишина, и теперь слышалось только прерывистое, хриплое дыхание обреченных людей.

— Спишут нас, братцы, за счет стихийного бедствия, — проговорил кто-то.

— Заткнись, будем сидеть молча, так и спишут.

— Давайте ломать вагон.

— Чем?

— Руками!

Я чувствовал, как начинала кружиться голова, стали путаться мысли, и вдруг меня осенило. Вспомнил, как мы, трое комсомольцев, в 1938 году по набору обкома комсомола ехали на поезде, который в народе называли «Максимкой». От Новосибирска до Владивостока восемь — десять суток тащился товарно-пассажирский поезд. В этом поезде была половина товарных, телячьих, половина пассажирских вагонов. Мы ехали в пассажирском вагоне на общих нарах без постели. И вот когда было жарко, я находил над собой в потолке вагона маленькую

металлическую шишечку на диске и поворачивал диск с окошечками, которые устанавливал против таких же окошечек в потолке вагона. На ходу поезда в этих окошечках свистел вытягиваемый из вагона воздух. Этот рычажок нужно искать посередине вагона.

Я долго шарил руками по потолку вагона, нашел злополучный рычажок и стал поворачивать его в разные стороны. Диск не поворачивался — наверное, приржавел. Я снял с ноги ботинок и начал бить по диску каблуком. Снова пробовал повернуть — диск не поддавался.

— Нужно ударить ногой, — посоветовал кто-то.

— А что, можно и ногой.

Мы, четыре человека, подняли пятого. Он лежал у нас на руках на спине и бил ногой в то место, куда мы направили его ногу. После третьего-четвертого удара с потолка посыпались проржавевшие куски жести, и нога застряла в отверстии вентиляции. Из этого отверстия чуть-чуть потянуло холодом. Конвой, очевидно, освободил от снега вентиляционные грибки на крыше вагона. Они тоже отвечали за то, чтобы довести нас до места живыми. И их могли наказать — не за наши загубленные жизни, нет! В этом мы все были убеждены. Могли наказать только за то, что не была доставлена ко времени рабочая сила.

К этому отверстию в крыше вагона, откуда струился свежий воздух, подносили по очереди упавших в обморок людей. И как только человек открывал глаза, подносили другого.

Мы потеряли счет времени. По предположениям, должно было быть утро. Людей охватило какое-то оцепенение, и непонятно было, то ли они спят, сидя на корточках, то ли мертвы. Нет. Если прислушаться, можно услышать еле слышное дыхание, слабые стоны, бормотание. Погребенные были живы. Но вот снаружи вроде слышались голоса, еле различимые, однако обостренный слух улавливал их, и ошибки быть не могло. Потом стали скрести по стене вагона с той стороны, где были окна. Обозначился тусклый квадрат зарешеченного окошка, и вслед за этим (удары, треск отдираемой решетки) от удара прикладом автомата рама, со звоном разбитого стекла, упала на нас. К окну приблизилось лицо конвоира.

— Всем сидеть на полу. В окно не высовываться. Стреляем без предупреждения.

— Пить! Пить! — понеслось из вагона.

— Молчать! — рявкнул конвоир. — А то сейчас напою!

— Пить!..

Минут через пятнадцать-двадцать в окошко просунули кусок слежавшегося снега, потом другой. Оттесняя друг друга, люди набросились на снег и не столько разобрали руками, сколько растоптали его ногами.

— Что, фашист, жить захотел? — это проговорил казах в лисьем малахае, загородивший все окно улыбающейся физиономией. Значит, откапывало поезд местное население — казахи.

Утолив жажду, люди опять заговорили. Посыпались предположения: сколько времени нужно, чтобы откопать весь состав, сколько времени нужно, чтобы расчистить путь, и куда повезут — вперед или назад? А время между тем шло, за стенами вагонов слышались крики, мат, рев верблюдов.



Буран, по-видимому, утих, так как траншея, пробитая к окну за день, не была занесена снегом.

Во второй половине дня в это же окно нам забросили соленой рыбы и по кусочку хлеба. И снова крики:

— Пить!..

Опять несколько кусков снега в окно и снова тишина.

Спустя какое-то время команда:

— По пять человек на opravку выходи!

Под дулами автоматов через открытый тамбур спускались на землю у самого вагона и обратно.

— Следующая пятерка! Выходи...

Состав был откопан на всю длину. День клонился к вечеру. Неужели впереди еще одна кошмарная ночь? Где-то в полночь еле уловимый толчок вагона и следом скрежет и визг колес по заснеженным рельсам. Кажется, поехали. В какую сторону — не все ли равно? За ночь еще не раз наш поезд останавливался, сдавал назад и снова полз вперед.

Да, теперь сомнений не было, мы вернулись на Новорудную, на ту станцию, с которой мы двое с лишним суток назад выехали в Байконур.

*Справка:* Поселок Байконур, давший название космодрому, на самом деле находится в 400 км от самого космодрома, у железнодорожной станции Тюра-Там.

Позже, в Джебказгане, мы встретили людей, побывавших в Байконуре. Там был небольшой лагпункт Степлага — п/я 392/7. Когда-то здесь было открыто месторождение каменного угля с толщиной пласта 60—100 сантиметров на глубине 100 метров от поверхности. Использовать технику при такой толщине пласта невозможно, а вот обушок и санки в виде деревянного корыта с лямкой были самыми подходящими.

Каторжный труд саночников на шахтах в царской России в литературе отражен достаточно хорошо, но таким способом в XX веке ни в Донбассе, ни в Воркуте, ни в других местах уголь уже не добывали. Забойщик долбил кайлом, нагружал корыто углем, и саночник на коленях тащил к стволу добычу. Только у ствола можно было распрямиться и стать во весь рост, высыпать уголь в бадью — и снова на коленях ползком до забоя.

Наколенники и рукавицы после пяти-шести смен превращались в лохмотья, а выдавались они сроком на один месяц. Тогда на колени привязывались куски старых, полусгнивших телогреек, которые для этой цели лежали в куче у шахты. Редкий день проходил без того, чтобы на поверхность не выволакивали труп. Умирили, сходили с ума из-за того, что человек, работая в полумраке забоя, все время чувствовал страх быть раздавленным, похороненным заживо, а обвалы были обычным явлением. Эти ежедневные спуски в шахту, как в могилу, доводили людей до отупения, безразличия ко всему окружающему и к своей судьбе. Потом человек «доходил», потом лазарет и... «деревянный бушлат».

Ночами в бараке слышались стоны, нечеловеческие крики «спасите!». Это новички привыкали к новым условиям работы, это подземный кошмар первых дней работы приходил к людям в страшных снах.

План добычи угля эти подземные кроты должны были выдавать ежедневно. И выдавали — ценой собственных жизней.

Стихия прервала наш путь на Байконур, и не все ли равно, куда нас бросят завтра. А сегодня мы хотим есть и спать после двухсуточного снежного плена.

## **Глава 5. ЭТАП НА ДЖЕЗКАЗГАН**

### *Каторжный лагерь Джезказган (медный котел)*

После неудачного этапа на Байконур нас возвратили на станцию Новорудная, и вот случилось то, чего боялись все зэки, которых привозили в Степлаг: боялись медных рудников Джезказгана.

У А.И. Солженицына в третьем томе «Архипелага ГУЛАГ» есть описание, как зэки, среди которых был и он, молили Бога, чтобы не попасть в Джезказган, когда их привезли в Степлаг. «Это была та джезказганская медь, добывание которой ничьи легкие не выдерживали больше четырех месяцев», — пишет Солженицын.

От станции до лагеря — три-четыре километра. Идем в колонне пятерками, взявшись под руки, по талому снегу, перемешанному с песком. В высоком голубом небе слышны трели жаворонков; даже собаки и те сегодня не рвутся с поводков, как обычно, когда сопровождают нас на этапах.

Справа от меня — высокий, широкий в кости человек лет шестидесяти, со сморщенным лицом. Когда-то добротный синий костюм висит на нем. Он все тяжелее опирается на мою руку. Не глядя в мою сторону, шепчет:

— Не бросайте меня...

Теперь я понял, что рядом идет крайне истощенный человек, еле переставляющий ноги. Онемела правая рука, и я сам уже начинаю запинаться. Сосед слева смотрит на меня, я глазами показываю ему вправо, тот понимает, крепче прижимает мою руку, поддерживает меня. Так мы в тройной связке подходим к лагерю. Колонну сажают на землю в стороне от ворот, не нарушая состава пятерки.

Как только мы сели, мой подопечный сразу же упал головой ко мне на колени.

Команда:

— Встать!

Встаем. Я пытаюсь поднять его, но мне не удается.

Конвоир замечает возню в колонне.

— А там что, особое приглашение нужно? — кричит он. Отдает автомат конвоиру, подходит к нам.

— Он не может встать, — говорю я конвоиру.

— Ну ничего, здесь быстро вылечат.

Между тем с вахты пришли с носилками и унесли бедолагу в лагерь. Так состоялось мое знакомство с бывшим послом в Англии Майским. После лазарета он был заведующим лагерной

пекарней, и мы с моим дружкой Володей Хоменко теперь имели возможность приходить после работы в шахте на пекарню — подносить, разгружать мешки с мукой и наедаться от пуза теплого хлеба с квасом. На первых порах этот дополнительный хлеб помог нам выжить после пересылок, этапов, тюрем, после непосильной работы в шахте. Но не прошло и года, как на Майского было совершено покушение и его убрали с лагпункта. Заведующим стал чечен и в подсобники стал брать своих.

Когда мы подошли к лагерю, то невольно сравнили эти мощные, выложенные из камня высокие стены с теми, что пришлось видеть до этого, — либо дощатые заборы, либо огороженные колючей проволокой, с вышками по углам деревянные бараки.

— Вот это капитально, — произнес кто-то.

С визгом и скрежетом раскрылись железные ворота, пятерку за пятеркой пропуская нас внутрь лагеря.

Утром кое-как натягиваем на себя шахтерскую робу. Чуни подвязываем на ногах обрывками веревок, проволоки.

Столовая. На завтрак — 300 граммов хлеба, миска баланды и несколько ложек овсяной каши. Стало страшно. Неужели с голодным брюхом идти в шахту? До этого я никогда в жизни не видел шахты вблизи, и эта неизвестность страшила. Шли по голой степи, окруженные автоматчиками с собаками. Трудно кому-либо из нас сделать шаг влево или шаг вправо и быть застреленным без предупреждения.

Небольшой шахтный двор.

— Садись!

Сели прямо в лужи талого снега. Разговаривать запрещено. Так хочется спросить, что будет дальше. Знали только то, что сказал бригадир перед разводом:

— Пайка зарыта на глубине сто пятьдесят метров, и, чтобы получить ее вечером, нужно дать план.

Потом это слово: «дали» или «не дали» план — уже воспринималось как понятие — будет вечером 300 или 600 граммов хлеба.

Где-то послышались глухие взрывы. Земля под нами вздрогнула. Что это? Минут через двадцать-тридцать из-под копра шахты с зажженными карбидками в таких же робах вышли три человека и скрылись за машинным отделением.

— К спуску приготовиться! Первая пятерка — марш! Вторая... третья.

Первая пятерка подошла под строения копра и через минуту как бы повалилась на землю. Тусклая лампочка, висящая где-то вверху, еле освещала четырехугольное отверстие, уходящее вниз, в темноту. Из этой ямы тянуло сырым теплом и дымом от взрывчатки.

Ноги нащупали внизу опору; это была лестница, стоящая почти вертикально. Одна ступенька, вторая, третья... Скользко, сыро. Одна лестница кончилась. Площадка (полук) — и дальше опять дыра и следующая лестница. На пятой или шестой я сбился со счета. В четырехугольнике отверстия, где-то в бездне, светила лампочка. Тяжелое дыхание людей ниже меня и выше. Остановиться нельзя. Спускались с интервалом в тридцать секунд. Остановишься — тебе

раздавят пальцы те, кто спускается следом за тобой. На площадке тоже нельзя остановиться передохнуть: удержишь спуск всей бригады, так как там двоим не разминуться. Вот дошли и до той лампочки, что светила где-то внизу, но вместо света от нее небольшое желтоватое пятно — таким густым и плотным был после взрывов (отпалки) дым.

Мы спускались как бы в стопятидесятиметровой дымовой трубе. Ствол шахты и ходок были естественной вентиляцией «Петро-2». Двадцать одна лестница по семь метров каждая преодолена, и мы ступили на каменную твердь. Здесь горело несколько более мощных ламп, однако все равно этот свет не мог рассеять дымной мглы.

Но вот спустился последний человек.

— Все? — спросил бригадир.

Ждем минуточку-другую, никого нет: значит, все.

— Зарядить карбидки.

Толстостенный цилиндр с носиком, как у чайника, и отверстием в верхней крышке, куда насыпают карбид. Стоит смочить карбид водой, как начинает выделяться ацетилен. Поднесешь зажженную спичку к носику — вспыхивает голубовато-красное пламя.

И вот мы, длинной цепочкой растянувшись по штреку, освещая путь карбидками, идем в дымной мгле за бригадиром в забой.

Не знаю, какой из десяти кругов Дантова ада, где бредут грешники, напоминало мне это шествие. И даже подумалось, что это испытание специально устроено для новичков, спустившихся в шахту. Тогда я еще не знал, что так было до меня, так будет после, — так было всегда, сколько существует эта шахта.

— Газвагон, — проговорил кто-то.

— Душегубка!

Людей душил кашель. Мы шли и шли, и казалось, этому пути не будет конца. Но, как потом выяснилось, забой от ствола шахты находился всего в трехстах метрах.

Нам казалось, что вот кончится этот штрек — и мы выйдем куда-то, где свет и свежий воздух. И мы вышли. Стены штрека вдруг как будто раздвинулись, но дым стал еще удушливее и плотнее.

— Садись! — скомандовал бригадир.

Работать было нельзя. Не было видно вытянутой руки.

Эта дымная мгла напомнила мне ноябрь 1942 года, Калининский участок фронта. Полк ночных бомбардировщиков вылетел на задание, и вот при хорошем прогнозе погоды внезапно надвинулся туман — такой плотной стеной, что ничего нельзя было различить. Тогда напрасно мы жгли костры, стреляли из ракетниц — самолеты, пришедшие с задания, не видя аэродрома, кружили над ним в надежде, что хоть где-нибудь появится окно и можно будет сориентироваться для посадки. Туман не проходил, горючее в машинах кончалось. И тогда летчики начали сажать машины где попало. Полк потерял восемь машин — это почти целая эскадрилья.

Особисты тогда хотели перед строем расстрелять двух девчонок с метеостанции (если ее можно было назвать станцией), где был один полевой телефон да указатель направления ветра.

Им давали сводки погоды сверху, из дивизии, а командование полка получало эти сведения от них. Я не знаю, что остановило особистов, но этих девчонок-«ветродуев», как их в шутку называли на аэродроме, не расстреляли, однако мы больше их не видели.

Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мы начали различать силуэты людей, плотно сидевших на валунах и на куче, отбитой у целика руды.

Потом стал более четко проступать свет от электрической лампы, освещая забой, похожий на грот высотой пять-шесть метров. Не верилось, что и норы под землей, и эти высокие забои в руде твердого гранита проделали вот эти люди, похожие на маленьких пещерных жителей в фибровых касках и рваных шахтерских робах.

Бригадир Лешка Лавриков, «контрик из бытовиков», как он нам отрекомендовался, изрек:

— Здесь я тебе и прокурор, и следователь, и судья. Не захочешь сдохнуть — будешь вкалывать, будет пайка. Да не вздумайте не послушать моего помощника: недосчитаетесь ребер, — поучал он нас.

Помощник его, Пашка, неопределенных лет человек, недомерок, был для нас действительно страшен и опасен. Никто не знал, когда и за что он мог напасть и безжалостно избить забурником. Жалоба начальству на произвол была равносильна смертному приговору самому себе. Пашка был из бандеровцев и так же, как и бригадир, имел срок 25 лет.

Бригадир распределил работы среди пополнения: откатчики, путейцы, обезопасчик, валунщик, бурильщик, помощник бурильщика, скреперист, крепильщик.

Многое стерлось в памяти, забылось, но этот первый день в шахте запомнился на всю жизнь.

— Будешь валунщиком, — сказал мне бригадир, подавая тяжелую кувалду на длинной ручке. — Разведу по работам всех и покажу, что и как делать.

В его мирном голосе мне показалась даже какая-то забота. Минут через пятнадцать он подошел снова ко мне.

— Вот, смотри: такой валун не пройдет через колосники рудоспуска, значит, его нужно разбить. Разбивать нужно тоже с умом. Не бей кувалдой по ребрам, а бей по лбу. Это значит, что валун, если он лежит кверху углом или ребром, нужно повернуть вверх плоскостью и ударить вот так.

Полупудовая кувалда, описав над головой дугу, как мне показалось, не так уж сильно ударила по валуну. Валун как будто бы остался на месте целым, но, пошевелив его ногой, я увидел, что он весь разбит на остроугольные куски.

— Теперь давай пробуй ты.

Я выбрал валун поменьше, прицелился, держа кувалду на уровне груди, и ударил. Брызнули в сторону мелкие осколки, валун остался целым. Ударил еще раз — результат тот же. Я поворачивал валун и бил, бил. Пот и слезы застилали глаза, и скоро я, обессиленный и мокрый от пота, опустился рядом с этим проклятым валуном, теперь уже круглым.

— Сила есть — ума не надо! Сноровки нет. Силы нет, а есть хочется, а пайка зарыта вот здесь,

под валуном, и ее нужно добыть к концу смены, — приговаривал бригадир, стоя надо мной. — Бери кувалду! — резким криком скомандовал он. — Дурень, вместе с кувалдой опускай руки и корпус, не задерживай кувалду в воздухе.

В этот удар я, кажется, вложил всего себя, и — чудо! Я еще не увидел, а почувствовал, что валун расколот. И так, усвоив нехитрую науку, я колот и колот валуны. Колот до тех пор, пока не потемнело в глазах. Последнее, что мелькнуло в сознании перед тем, как я упал среди валунов, — нужно было... с отдыхом! Очнулся весь мокрый. Кто-то принес в каске воды и вылил на меня. Через пелену тумана проступали стены забоя, свет ламп, копошащиеся люди, занятые каждый своим делом.

— Ну что, освоил науку? Отдохни. Скоро съём.

Я хотел подняться с земли, но страшная боль в пояснице, в суставах, руках посадила меня снова на землю. Длинный звонок — конец работы. Плохо помню, как дошел до ствола. Видно было по всему, что мне по ходу не подняться. Не преодолеть двадцать одну лестницу, стоящую почти вертикально. Бригадир послал помощника, чтобы тот спросил разрешение конвоя выехать по клетки с больным. Так я единственный раз, первый и последний, поднялся из шахты в клетки.

Всякий раз, кончая смену, каждый из нас со страхом думал, хватит или нет сил подняться на поверхность, преодолеть сто сорок метров по мокрым, скользким лестницам. Двадцать одна лестница по семь метров каждая.

Наконец все на поверхности. Те, кто вышел раньше, ложатся на землю — это отдых перед переходом в лагерь.

— По пятеркам разберись!.. Марш! Я в середине пятерки, взят под руки, шагаю как в полусне. Ворота, лай собак, шмон... От вахты иду в санчасть.

— Раздевайся.

Хочу снять робу, но рук согнуть не могу. Не могу расстегнуть пуговицы на куртке.

— Не темни. Раздевайся.

Врач-грузин свирепеет. Срывает с меня куртку, бушлат, мнет суставы, с силой сгибает и разгибает руку; кричу от боли, и опять темно в глазах. Подносит к носу ватку с нашатырным спиртом. Растирает виски. Я смотрю на свои руки, и мне кажется, что это сон. Суставы в локтях распухли до такой степени, что кажутся неправдоподобными. Это было во второй раз после Асино.

— Иди!

Накидывает мне на плечи бушлат, куртку. Врач. Так закончился мой первый день работы в шахте «Петро-2». Это был день, когда я дрогнул и испугался. Испугался того, что заболел и не смогу работать. Болезнь в лагере — это прощание с жизнью. «Доходяга», «фитиль», «деревянный бушлат» в конце концов неизбежен. Это не для меня. Тогда выход один:

несколько шагов в сторону из строя, и конец. Шаг влево, шаг вправо — это не простая угроза конвоя.

Это был февраль 1949 года.

Впереди еще долгих шесть лет в каторжном лагере, именуемом п/я 392/1.

### *Каторга*

Осенью 1950 года произошло событие на первый взгляд малозначительное, но повлекшее за собой другие, которые мы не могли даже предположить.

Как-то, когда мы пришли с работы, после ужина, бригадир принес лоскуты белой бязи с написанными на них номерами и список бригады. Против фамилии каждого из нас стоял номер. Мы выходили из строя и получали под расписку четыре таких лоскута, становились в строй, недоуменно рассматривая эти номера.

— Все получили? — спросил бригадир.

— Все.

— А теперь смотрите, где и как их пришить.

И он показал нам телогрейку и ватные брюки, где были нашиты номера. Для этого нужно было на спине, на груди слева, на рукаве телогрейки и на штанине выше колена вырезать по размеру отверстие и вшить номер. Эту работу мы выполняли до отбоя, занимая друг у друга иголки, нитки. Бригадир торопил. На развод все должны были выйти уже занумерованными.

Итак, с этого дня я стал человеком СЛ-208. Стали гадать, что обозначали буквы «СЛ» — «спецлагерь»? Так у других были все буквы алфавита от «А» до «Я». Номер мог быть номером уголовного «дела». А, черт с ним, не все ли равно?

Утром вышли на развод. Кроме конвоя и надзирателей на разводе были начальник лагеря, начальник режима, начальник КВЧ, опер и еще кто-то. Придирчиво осматривали каждого. Пробовали, прочно ли вшит номер. Двоим из нашей бригады повезло — вернули в зону. Начальник режима без труда оторвал слабо пришитые номера. Довольно ухмылялись конвоиры, надзиратели. В присутствии начальства казалось, что даже собаки, окружавшие колонну, были злее обычного.

Ко всем заботам нашим прибавилась забота содержать в порядке номера, то есть чтобы они всегда были хорошо видны и различимы. Один раз в две недели бригадир приносил баночку с черной краской, и художник из КВЧ подновлял номера.

Мы уже без труда определяли придурков и вообще лагерную аристократию — по тому признаку, что номера на их одежде были чистыми, четко выделялись на бушлатах, а у работяг через месяц с трудом можно было различить вшитую тряпку с номером. Через какое-то время уже перестали сажать в БУР за нарушение формы одежды тех, кто работал в шахте, — сохранить номера чистыми после одной смены не было возможности.

После нашивания номеров мы ждали дальнейшего ужесточения режима, и это ожидание не замедлило подтвердиться. Внезапные ночные шмоны-обыски стали обычным явлением и участились. Если ты по забывчивости не откликнулся на вызов надзирателя, назвавшего твой номер, тогда надзиратель имел право в наручниках увести тебя на вахту и там выяснить, почему ты не отозвался на вызов. После такой профилактики номер запоминался на всю жизнь.

Теперь надзиратели ходили по зоне, поигрывая блестящими браслетами с цепочкой. Кто говорил, что эти наручники с трещоткой подарили американцы, а кто был в плену у немцев,

уверял, что это немецкое изделие.

В бараках курить запрещали, но после того как барак закрывали на замок, в полумраке можно было там и сям видеть тлеющие огоньки сигарок. Барак наполнялся табачным дымом.

И в этот вечер так же надзиратель, погремев задвижкой и замком, закрыл дверь. Так же задымили сигарки. Как надзиратель оказался в бараке — никто не заметил. Зажегся свет.

— Кто курит?! — рявкнул надзиратель.

В таких случаях нужно не только не поднимать головы, но даже не шевелиться, замереть... спать.

Я, по всей видимости, только что задремал и при окрике надзирателя машинально поднял голову — спал я на верхней вагонке. И в тот же миг с меня сорвано одеяло, а сам я сдернут на пол.

— Пошли...

— Я не курил, у меня нет махорки, — стал я объяснять казаху-надзирателю.

Сейчас узнаем, курил или нет.

В тамбуре барака между входной дверью с улицы и дверью, ведущей в барак, слева каморка для надзирателей. Две табуретки, стол, маленькое зарешеченное окошко.

— Руки на стол!

Я стоял в нижнем белье, руки за спиной, как и положено, когда тебя ведет надзиратель...

— Ты глухой?!

— Я не курил...

И в следующую секунду я получил оглушительный удар кулаком в левый висок. Очнулся сидящим на табуретке в наручниках. Ко мне пододвинули второй табурет, положили на него руки и нажали коленом на браслеты — сперва на один, потом на другой. Скоро я перестал чувствовать боль, из-под браслетов сочились капельки крови, и они почти уже скрылись в сине-багровой опухоли вокруг них.

Сколько продолжалась эта экзекуция, не помню, только вскрикнул от невыносимой боли, когда наручники снимали, — как будто бы вместе с ними отдирали от рук кожу.

Втолкнули в барак и закрыли дверь.

— Что, больно? — спросил меня дневальный, добрый чех Киричек Василий Васильевич. Длинный, сухощавый, как жердь, он чудом выжил, проработав в шахте всего три месяца. Попал в лазарет и после к нам в барак дневальным.

— На, смочи тряпку мочой и прикладывай — пройдет.

Только к утру забылся немного от потрясения и боли, как раздалась команда:

— Подъем!



Руки в запястьях не сгибались. С помощью моего дружка Володи Хоменко натянул робу и вышел на развод. Бригадир Лешка Лавриков, этот безжалостный садист и бандит, для которого ежедневный план шахты был важнее, чем смерть любого из нас, и то, посмотрев на руки, сказал:

— Выходи на работу и там в забое просидишь смену, а останешься в бараке, значит, будешь в БУРе отдыхать.

Так единственный раз за весь срок я, выйдя на работу, не работал. Ребята, скинув бушлаты, отдали их мне. Я их постелил под себя и, укрывшись, уснул. Постоянная температура в забое и зимой и летом — плюс четыре градуса при большой влажности не самое подходящее место для сна, но я уснул, согрившись под бушлатами, под грохот загружаемых вагонеток.

Закончилась смена. Предстояло еще одно страшное испытание — подняться на поверхность. Нужно было преодолеть проклятые лестницы. Лестницы в ходке поставлены почти вертикально, каждая из них крепилась к полку размером метр на метр с отверстием, чтобы можно было подняться к следующей лестнице, то есть каждый полок был основанием следующей лестницы. Сигнал о конце работы подавался из машинного отделения долгим звонком. Я знал, что мне, с опухшими руками и негнущимися пальцами, не преодолеть и двух лестниц.

Бригадир спросил меня, смогу ли я выйти на поверхность.

— Мне нужен минимум час, чтобы преодолеть все лестницы, — ответил я ему.

Время для съема мы научились определять без часов с точностью до пяти — восьми минут. И вот примерно за час до конца смены я начал подъем. Ребята напутствовали:

— Обнимай лестницу согнутыми у локтя руками, в лазу опирайся тоже локтями и на каждом полке отдыхай сидя.

Плохо помнил, как с помощью ребят, обливаясь потом, преодолел последние марши лестниц. Как во сне дошел до лагеря. Потом они мне рассказывали, что, поднимаясь, нашли меня на двадцатой лестнице, лежащим на полке, на какое-то время потерявшим сознание.

Так шел за годом год, без особых событий, если не считать прихода очередного этапа или этапа из лагеря, этапы доходят в Спасск под Караганду. Этот лагерь у нас звали «всесоюзной инвалидкой». Из него этапов и переездов для тех, кто попал туда, уже не было...

1949-1951 годы. За это время дважды, почти полностью, сменились люди. Память сохранила всего несколько имен: Иван Цилярчук, Владимир Хоменко, Вл. Григолавичюс, бригадир Лешка Лавриков и два-три человека, фамилии которых время стерло из памяти; они, как и я, выжили каким-то чудом. Остальные — по конвейеру: лазарет, этап, Спасск — и там находили свое последнее пристанище. Силикоз — вещь серьезная: «от лат. silix... кремень — профессиональная болезнь, вызываемая длительным вдыханием пыли, содержащей свободную двуокись кремния... что вызывает глубокие расстройства жизненных функций организма...» (БСЭ, 1956, т. 39, с. 30).

В один из дней, когда мы пришли на смену, бригадир велел мне остаться на поверхности.

— Пойдешь на верхнюю откатку. Работа нехитрая, но требует силы, и силы должно хватать от начала до конца смены.

Работа такая: из поднятой клетки нужно было выкатить на плиту вагонетку с рудой, в клеть затолкнуть пустую и отправить в шахту. За то время, пока пустая вагонетка шла вниз, мы разворачивали вагонетку с рудой, закатывали ее на рельсы и катили в отвал. В то время когда я подгонял пустую вагонетку к стволу, подходила к клетки груженная; выкатывали груженую, закатывали пустую — и так всю смену. Если приходила вагонетка с породой, тогда нужно было развернуть ее на рельсы породного ствола, зацепить трос лебедки за крюк вагонетки и включить лебедку — и вагонетка ползла на вершину отвала. Там кузов вагонетки опрокидывался, а пустая вагонетка спускалась на площадку.

Иногда вагонетка, ударившись об ограничитель, срывалась с крюка, и тогда хорошо, если она успевала опрокинуться: пустая, с грохотом и лязгом она неслась вниз и улетала куда-то в отвал, а вот если она, сорвавшись, летела с грузом, тогда и часовой покидал свою будку, снимал автомат, что-то кричал нам, а мы сами прятались за надстройки ствола. В самом низу отвала вагонетка обязательно опрокидывалась, и куски породы со свистом разлетались в разные стороны. Подъем стопорился. Звонки из шахты, звонки из машинного отделения. Опускаем пустую клеть. И снова: подъем — спуск, подъем — спуск... И вот он, долгожданный съём. Наваливается смертельная усталость, плывут перед глазами круги, не чувствуешь ни рук ни ног...

Завтра, и послезавтра, и через месяц — все то же. Летом нещадно палит солнце, зимой в буранный с морозом день на эстакаде не укроешься, не спрячешься. И бывало, стоит по какой-либо причине остановиться подъему, тогда вообще беда. Мой предшественник на верхней откатке обморозился, попал в лазарет и ушел на этап ужеходягой. На верхнюю откатку брали только тех, кто отсидел половину срока.

Так прошли 1951-1952 годы. В 1953-м произошло сразу два события. Первое — то, что меня перевели работать в механические мастерские при шахте, и второе, радостное, не менее радостное, чем конец войны, — пришел конец тирану — Иосифу Кротовому (так между собой окрестили мы «отца всех народов»).

Трудно описать, что творилось в лагере. Не было человека, даже среди двадцатипятилетников, в ком бы не воскресла надежда на скорые перемены в нашей жизни.

Это было в марте 1953 года.

## **Глава 6. ВОССТАНИЕ В КЕНГИРЕ. ЗАБАСТОВКА В ДЖЕЗКАЗГАНЕ**

Но прежде чем произошли какие-то изменения, в конце мая — начале июня 1954 года нам суждено было пережить немало горьких, а порой и трагических дней и месяцев.

Теперь в лагерь стали привозить кинофильмы. На час-полтора мы забывались, созерцая такие далекие от нас свободу и жизнь.

В один из воскресных вечеров, как только погас экран, на балкончике столовой из кинобудки появился человек и громко объявил, что завтра на работу не выходим и что те, кто сделает шаг к вахте, будут уничтожены. Кенгир не работает уже месяц, и мы должны поддержать наших товарищей.

Общий смысл был понят всеми, хотя язык выступающего был какой-то тарабарщиной из смеси украинского, белорусского и молдавского. Было ясно, что забастовку затеяли «западники», «бандеровцы» — так мы их называли, русские. Они называли нас «москалями», «красными».

Можно написать целое исследование по поводу этого на первый взгляд странного явления: у нас, повязанных одной страшной бедой, загнанных в нечеловеческие условия, каждый прожитый день не только был наполнен изнурительным трудом, борьбой за кусок хлеба, но был также днем непримиримой озлобленности, вражды между «москалями» и «западниками». И теперь, после этого призыва к забастовке, наступило какое-то оцепенение, и первая мысль: «Чем все это кончится?»

Им, с двадцатипятилетними сроками, терять было нечего, а мы, многие «москальи», отбыли кто половину из десяти, кто заканчивал срок. И теперь мы должны стать если не соучастниками забастовки, то заложниками. После так оно и получилось.

Утро. Лагерь точно вымер, ни души. Ни надзирателей, ни начальства. Кто-то из надзирателей был вчера в кино и сообщил начальству о забастовке.

В столовую потянулись по расписанию. Те, кто выходят на развод первыми, первыми завтракают. Помню, в то утро за многие годы я впервые без аппетита, как-то вяло выпил свою порцию баланды, съел хлеб. Все притихли. Ни суеты, обычной при раздаче, ни мата. Наш барак был самым ближним к вахте и угловой вышке. Бросив взгляд на вышку, я увидел, что кроме обычного часового с автоматом был еще и второй — с «дегтярем»\*, поставленным на бортик вышки. Выставлены часовые и на промежуточных вышках — там, где обычно часовые выставлялись на ночь. Значит, меры уже приняты...

На другой день особых событий не произошло, если не считать того, что перекрыли воду, поступающую в бассейн для нужд лагеря. К счастью, бассейн был заполнен накануне доверху, и при экономном расходовании воды могло хватить на

\* Ручной пулемет конструктора А.В. Дегтярева. — *Прим. ред.*

четыре-пять дней. И сразу же поступил приказ давать воду только в столовую. В этот же день на вахте приоткрылись ворота, и на линейку втолкнули тележку с ящиками соленой рыбы: Балхаш кормил все лагеря Степлага сазаном. Нам из этой рыбы в основном варили нечто похожее на уху, в которой разварены были даже кости.

К этим ящикам с соленой рыбой никто не притронулся. Так они и стояли на линейке до конца забастовки. На третий день, где-то после обеда, из мощных динамиков, установленных на вышках, начали передавать концерт. Вот этому мы удивились больше всего. После долгих лет молчания и каких-либо известий извне — и вдруг радио.

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек,

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек...

Потом «Валенки» — исполнила Русланова, а потом тишина, и громкий твердый голос:

— Заключенные!..

Смысл выступления свелся к следующему: шахты — это наше общее достояние, это богатство Родины, и это богатство сейчас гибнет. Шахты заливают водой, выходит из строя оборудование. Выходите завтра на работу. Со следующей недели приехавшая из Москвы комиссия начнет

пересмотр дел, реабилитацию, сокращение сроков. Забастовкой вы только усугубите свое положение.

И потом уж совсем необычные, забытые в официальных обращениях к нам слова:

— Товарищи, друзья... Еще немного терпения, и вы, многие, уже вольными гражданами страны будете трудиться на благо Родины, на этом же комбинате...

Как потом узнали, выступал директор комбината Ломако.

Ответные реплики на выступление:

— Волк в брянском лесу тебе товарищ. Сперва освободи, а потом поработаем, — и т.п.

Следующим событием в лагере было появление двух человек, которых надзиратели втолкнули в лагерь через ворота.

Это были люди из Кенгира. Их забросили к нам для того, чтобы они рассказали, чем закончилась забастовка у них. Вывод был таким: если бы они не устроили беспорядков внутри лагеря, убийства «москалей», не разрушили стены между зонами, и в частности в женскую зону, то может быть, лагерь не был бы подавлен оружием и танками. Наш руководитель забастовки предупредил рассказчиков, что, если они соврнут хоть что-нибудь, он их повесит.

Через много лет, прочитав «Архипелаг ГУЛАГ», главы о Кенгирском восстании, заключаю, что рассказчики были близки к истине. После того как мы узнали о Кенгире, каждый прожитый день и особенно наступающая ночь были ожиданием расправы с нами, «красными». И вот, пройдя сквозь муки тюремного ада, допросов, голода, когда впереди уже забрезжил рассвет свободы, умереть под ножом или быть задушенным во время сна только потому, что ты русский, малосрочник? Это ожидание было выше всяких сил. Ведь если бы они захотели это сделать, то не помогли бы наши ночные дежурства в бараках и забаррикадированная дверь — они бы сожгли наш барак вместе с нами. А лагерь, притихший, настороженный, представлял пороховую бочку. Достаточно было случайной искры, и эта слепая, безрассудная стихия убийств, насилия захлестнула бы тысячи и так обреченных людей. Ожидание становилось невыносимым.

На другой день после прихода «послов» из Кенгира к нашему барaku подошли три человека. Один из них, маленького роста, невзрачный на вид человек, и был руководитель забастовки. Два его телохранителя, дюжие молодцы в кубанках и расшитых украинским орнаментом рубашках, спросили, кто из нас, русских, знает украинскую мову. Мои бригадники указали на меня. Я любил и люблю до сих пор украинский язык. В университете произошло близкое знакомство с белорусским и украинским языками — в течение одного семестра, в основном по учебникам. А потом я слушал украинские песни.

Когда с Иваном Цилярчуком работали на шахте, мы разговаривали только на украинском языке. Его сперва забавлял мой выговор, а месяца через три мы с ним балакали на равных.

Я до сих пор не знаю, почему ему, этому малограмотному, жесткому человеку понадобился «москаль», балакающий на украинской мове. Ближайшим моим товарищем был украинец Володька Хоменко; позвали и его.

Начал предводитель с того, что сказал:

— Не мешало бы кое-кого повесить, да некогда, — и добавил, что сейчас нужно написать на

бумаге то, что он будет говорить.

Его «адъютанты» положили мне на колени фанерную доску, с которой нарядчики выпроваживают бригады на работы, и развернутый тетрадный, в клеточку, листок бумаги. Я очень жалею сейчас, что не имею копии этого примечательного в своем роде документа, переведенного с украинского на русский. Но смысл хорошо помню. В воззвании к лагерному населению было сказано, что сейчас нужно забыть все распри и вражду, соблюдать в лагере порядок и дисциплину и что, если мы повторим Кенгир, погибнем все. Володька Хоменко прочитал предводителю с украинского текст, и видно было, что тот остался доволен. Хоменко этот текст на таком же листе написал по-украински. Текст был размножен и вывешен в лагере. Такой поворот дела обрадовал нас, и появилась надежда на какой-то исход. А исход не замедлил.

На рассвете за зоной со всех сторон послышался гул работающих машин, и с какой же радостью я уловил запах солярки! Это танки. Мы, фронтовики, знаем и гул, и запах. Ошибки не было. Пусть теперь будет даже ужасный конец, чем ужас без конца. Слышался лай собак, на вышках — пулеметы, направленные на бараки... С грохотом раскрываются железные ворота. В проеме ворот показалась группа в сопровождении танка, вышла на линейку у вахты, танк остановился в воротах. В мегафон команда:

— Бригадир, ко мне, остальным оставаться на местах! Озираясь, вышли бригадир.

— Срок даю десять минут. Чтобы за это время бригады были выведены на линейку!

Повернулись и так же спокойно, как вошли в лагерь, вышли из него, оставив в проеме ворот Т-34.

Первой на разводе строилась наша бригада — шахтостроителей. Не успел бригадир договорить до конца, как мы, обгоняя друг друга, ринулись на линейку. Танк попятился назад, давая нам дорогу на выход. За зоной мы сразу попали в кольцо автоматчиков и собак. Откуда их столько?

Натянутые поводки, оскаленные морды, команды, грохот работающих танковых двигателей — так был на сей раз оформлен наш выход на работу. В это утро на каторжную работу в шахту мы шли избавленными от страха, неизвестности, ожидания.

## **Глава 7. ОСВОБОЖДЕНИЕ**

К концу третьего дня шахта «Петро-2» выдавала план, все вошло в русло обычной лагерной жизни. Только теперь никто не требовал подновления, стали терпимее надзиратели, пошла почта из лагеря и в лагерь.

И что было самым главным и удивительным — нас не обманули на сей раз. В лагерь приехала комиссия по пересмотру дел. В кабинете начальника лагеря вел прием жалоб один из помощников Генерального прокурора Руденко, Вавилов. 28 июля от меня была принята жалоба с описанием «дела», приемами следствия Томского МГБ. Доброжелательное, открытое лицо, спокойный взгляд этого человека вселяли какую-то надежду, доверие. До сих пор помню его слова:

— Мы проверим ваше дело в Верховном Суде РСФСР, и, если подтвердится все, что вы написали в жалобе, месяца через три-четыре вы будете реабилитированы, а сейчас комиссией вы будете освобождены из-под стражи по сокращению срока до семи лет и будете работать на руднике и

отмечаться в комендатуре. За побег — срок двадцать пять лет.

В ноябре месяце 1955 года в комендатуре комендант-казах зачитал документ о реабилитации. Еще через неделю в Кенгире, в поселковом Совете, получил все документы: в геолого-разведочной партии, где я работал этот год, выдали трудовую книжку с записью о том, что я работал в ШСУ\* и в ГРП\*\* все эти восемь лет и десять месяцев. А еще через месяц я был уже дома, в Новосибирске.

Нужно было начинать новую жизнь. Мне было тридцать шесть лет. Из них армией, фронтом и заключением вычеркнуто из жизни почти пятнадцать лет. Таким был мой университет, растянувшийся во времени и пространстве на долгие годы.

\* Шахтостроительное управление.

\*\* Геолого-разведочная партия.